

Пять полнценных томов стихотворений и поэм, изданных в 2011-2012 годах, том прозы, озаглавленный “Тропы вечных тем”, изданный в 2015-м, – внушительный памятник Юрию Кузнецову. Его собрание сочинений, которого он так и не удостоился при жизни, ожидалось давно, и слава Богу, что состоялось. За одно это можно принести сердечную благодарность газете “Литературная Россия” и, в первую очередь, её сотруднику, составителю и автору комментариев к каждому из томов, автору вступительной статьи Евгению Богачкову.

Комментарии к стихам – очень обстоятельные и богатые по своему содержанию, с привлечением собственных записей поэта, выдержек из мемуарной литературы, что даёт возможность глубже проникнуть в смысл прочитанного (другое дело, что не всегда полны – и об этом ещё пойдёт речь). Что касается предисловия, то его автор пишет о поэзии Кузнецова на чрезвычайно высокой ноте. Ярко и осмысленно проследив в творчестве поэта ключевые символы “ветра”, “свободы” и “огня”, Богачков дал поэтическому целому объёмные и точные характеристики.

“Большинство его стихотворений, а тем более поэм обещает для читателей и литературоведов значительные философские, художественные и духовные открытия. Не говорим уже о тех плодах, которые могло бы принести осмысление его творчества в целом и в соотношении со всеми богатствами и достижениями мировой культуры”.

“Уже сейчас ясно, что поэтический мир Юрия Кузнецова обладает удивительной цельностью и по праву может быть назван именно “миром” или даже “вселенной” со своими законами и сверхсмыслами”.

“Поэт, по Юрию Кузнецову, <...> объединяет народ в целом, создавая особое пространство мифа, в котором этот народ не разделён ни временем, ни пространством, а то, что народ действительно разделяет – провалы памяти и духа, братские распри, болезни совести и веры – отзывается болью в сердце поэта, и этой почти невыносимой для человека болью, своей страдающей любовью он заживляет, срощивает, латает разрывы...”

“Борьба за человека через слово есть крестный путь поэта, как считал сам Юрий Кузнецов. Соответственно, русский поэт должен быть образцом русского человека, достойным представителем русского народа, должен ощущать себя как последний русский человек перед лицом мира и Бога, по которому и судят о народе. И сам Юрий Кузнецов таким был”.

Каждый из этих тезисов, безусловно, нуждается в дальнейшем развитии, но для краткого предисловия и этого достаточно, если учесть, что солидная часть его посвящена объяснению для читателя принципов, по которым строилось это собрание.

Вот о принципах и стоит поговорить более подробно, ибо, повторю, сам факт появления многотомного собрания сочинений поэта может лишь обрадовать. К сожалению, в представленной нам бочке мёда есть несколько увесистых ложек дёгтя.

Дальнейшее — не столько укор составителю, сколько объяснение того, как нельзя составлять собрание сочинений поэта, у которого до сей поры — и при жизни, и после смерти — стихи и поэмы выходили лишь отдельными изданиями.

Прежде всего, начать, может быть, следовало хотя бы с избранного трёхтомника, включающего в себя лучшее из написанного поэтом с привлечением избранной прозы, отдельных статей и публичных выступлений. Это дало бы возможность представить читателю Кузнецова в его наиболее значительных проявлениях. Кстати сказать, составитель одной из книг поэта — Вадим Кожинов — работу над книгой начал со стихов 1968 года, своего рода “зрелого рубежа”, отодвинув в сторону даже стихи, написанные годом ранее, с которых сам Кузнецов начинал свои многие прижизненные издания.

Сам же составитель пишет, что “сейчас пора собирать воедино и шаг за шагом (выделено мной. — С. К.) готовит к изданию и творческое наследие Юрия Поликарповича Кузнецова”. Но готовя его творческое наследие в целом, он пошёл не “шаг за шагом”, а стал совершать гигантские прыжки. Здесь перед ним встала своя сверхзадача, которую он и обозначил в предисловии:

“В основном тексте и комментариях впервые отражено содержание литинститутского дипломного проекта Юрия Кузнецова (по сути, первого сборника его стихотворений под названием “Пространство”), ранние юношеские публикации в местных кубанских изданиях, а также многочисленные рукописи поэта, как чистовые, так и черновые”. Богачков объяснил необходимость включения данных текстов в собрание тем, что это “полезно именно для выяснения признаков, критериев, по которым Кузнецов определял достоинства собственных поэтических произведений и, соответственно, не полную состоятельность многих из них”, а также тем, что “всё это рано или поздно необходимо издавать в исследовательски-академических целях”. Думается всё же, что “выяснение” этих “признаков” можно было бы отложить на дальнейшее, на время издания действительно полного академического собрания, которое, как написал сам составитель, ещё “ждёт своего исполнения”.

А в результате получился совершенно непредусмотренный составителем эффект: читатель, начавший чтение собрания с предисловия, исполненного в высочайших тонах, с недоумением начинает читать ранние и во многом несовершенные опыты и волей-неволей задаёт себе вопрос: “И это — стихи великого поэта?!”

Может быть, всё же Е. Богачков не был до конца уверен в справедливости именно такого построения собрания. Об этом говорит и цитата из кузнецовского “Письма в Тихорецк”, приведённого в предисловии: “Эх, милые земляки, ох, родное захолустье! И зачем-то вы вспоминаете мои слабые детские поделки! Это всё равно, что хвалить Гоголя за ранний бездарный опус “Ганц Кюхельгартен” или Некрасова — за первые подражательные “Мечты и звуки”...” И снабдил своим пояснением: “Исходя из сказанного, стихотворения, не включённые автором в свои книги, мы располагаем в конце тома в ПРИЛОЖЕНИЯХ”. Но если мы откроем всё тот же первый том, объединивший стихи 1953–1964 годов, то увидим, что стихи, представленные в основном корпусе, занимают одну треть (даже меньше!) по сравнению с ранними, не публиковавшимися стихами (или публиковавшимися в ранней периодике), представленными в ТРЁХ приложениях.

Скажу честно: никогда не был почитателем тех составителей, которые готовят собрания сочинений классиков, стремясь закинуть туда абсолютно всё, ими разысканное, придерживаясь при этом обязательного хронологического принципа. В 1990-е годы я принимал участие в издании академического собрания сочинений Сергея Есенина, издававшегося Институтом мировой литературы. Так вот, в основе этого издания лежала авторская воля, коей мы и следовали, представляя первые три тома собрания в том виде, в каком их отобрал сам Есенин ещё при жизни. И принцип, которым руководствовалась составитель кузнецовского собрания, мне представляется совершенно неоправданным, несмотря на все его пояснения. После слов в предисловии о поэтическом мире Кузнецова, как о “вселенной со своими законами

и сверхсмыслами”, читатель лишь впадёт в недоумение, читая, допустим, стихотворение “Грузчик” 1960 года, написанное под раннего Евтушенко, или стихотворение “Полные паруса” 1961-го, исполненное в стиле “а-ля Багрицкий”, то есть стихи, которые сам Кузнецов включил когда-то в свою первую краснодарскую книгу “Гроза”, но затем нарочито забыл о них и никогда больше не вспоминал. Не говоря уже о стихах “из школьных тетрадей”.

“Итак, 1967-й год – знаковый в творческом развитии Юрия Кузнецова. Стихотворения именно этого года – самые ранние, с которых начинаются почти все его поэтические сборники (те, в которых представлены избранные произведения)”, – пишет Богачков в комментарии к стихотворению “Отсутствие”. Вот и надлежало последовать в данном случае авторской воле, не перегружая первое собрание поэта несовершенными ранними текстами и тем более черновиками.

Кстати, о комментариях. Я уже говорил об их насыщенности и подробности. Но есть в них определённые лакуны, которые следовало бы заполнить.

Так, стихотворение “Не сжалится грядущий день над нами...”, как говорил сам Кузнецов, “написано на полях Заболоцкого”. И нетрудно увидеть здесь прямые перекички с “Завещанием” Н. Заболоцкого: “Я не умру, мой друг. Дыханием цветов // себя я в этом мире обнаружу... // Над головой твоей, далёкий правнук мой, // я в небе пролечу, как медленная птица...” Это сопоставление, сразу бросающееся в глаза, к сожалению, в комментарии отсутствует.

Стихотворение “Памяти космонавта” явно навеяно гибелью Владимира Комарова 24 апреля 1967 года, так же, как и стихотворение “Отец космонавта”, которое было создано по следу гибели Георгия Добровольского, Владимира Волкова и Виктора Пацаева. К сожалению, составитель ни о чём подобном не упомянул.

В стихотворении “Цветы” отмечена перекичка отдельных строк со стихами Николая Гумилёва. Однако было бы гораздо более существенным сопоставить это стихотворение с есенинской “маленькой поэмой” “Цветы” и поразмышлять о взаимопритяжении–взаимоотталкивании в данном случае двух поэтов.

В комментарии к зачину поэмы “Дом” естественным было бы упомянуть “Доброго Фило” Николая Рубцова – слишком очевиден отсыл кузнецовского “Фили” к рубцовскому.

Стихотворение “Мне снились ноздри! Тысячи ноздрей...” имеет прямой литературный источник – работу В. В. Розанова “Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови”. Здесь был бы возможен пространный комментарий, который, к сожалению, отсутствует.

В комментарии к “Змеям на маяке” следовало бы уточнить, на какие средневековые хроники ссылался П. В. Палиевский, даря Кузнецову сюжет этой поэмы.

Было бы интересно поразмышлять о том, не является ли первоотличком стихотворения “Тайна Гоголя” кощунственное сочинение А. Вознесенского “Похороны Гоголя Николая Васильича”.

Стихотворение “Повернувшись на Запад спиной...”, посвящённое Владимиру Кожину. Удивительно, как составитель не обнаружил прямых перекичек в этом стихотворении со статьёй Кожина “И назовёт меня всяка сущий в ней язык...” Даром, что написано оно двумя годами ранее публикации названной статьи – не подлежит сомнению, что критик делился с Кузнецовым своим замыслом этой ключевой для себя работы и наверняка обсуждал с ним её основные тезисы.

Стихотворение “Гость” 1985 года. Мне представляется, что здесь было бы гораздо уместнее связать образ героя этого стихотворения с образом В. Высоцкого, чем в комментарии к стихотворению “Аполлон гитару взял у Смердякова...” Тем более, что в нём присутствуют и скрытые цитаты из самого Высоцкого (“Ещё до зачатия успел удрать: свобода – оно верней...”), и прямые жизненные реалии (“Я в жёны себе французку возьму и стану интеллигент. Махну мимо мира в косом дыму от сигареты “Кент”...”) Можно вспомнить, что именно в это время началось очередное “раскручивание” Высоцкого – до сих пор помню огромный плакат на Арбате с запоминающейся надписью: “Пушкин и Высоцкий: два поэта – две судьбы”.

Но это – частные замечания. Гораздо хуже другое. В предисловии Евгений Богачков сообщил, что “было принято решение оформление и располо-

материала в настоящем издании сделать не в академическом, а в более свободном и популярном виде. Поэтому комментарии располагаются не в конце тома, а параллельно, и в них сведены к минимуму сокращения и условные знаки, затрудняющие непосредственное восприятие”.

В результате этого “свободного и популярного расположения материала” комментарии практически невозможно читать. Они перемешаны с “многочисленными версиями и редакциями стихотворений”, причём помещены мелким шрифтом под каждым текстом отдельного стихотворения. Разбираться в них просто физически утомительно любому простому читателю. Уж лучше бы составитель последовал “академическому принципу”: в отдельном разделе в конце каждого тома — черновые и ранние редакции, и в отдельном — комментарии. И именно в конце каждого тома, как это сделано в томе прозы. Принцип же “свободного расположения” попросту испортил издание. К вящему сожалению.

Но самое тяжёлое впечатление оставляют послесловия к каждому тому в исполнении главного редактора “Литературной России” Вячеслава Огрызко.

Читать их, в первую очередь, невероятно скучно. Утомительным стилем, с многочисленными повторениями, с совершенно ненужными вкрапленными сюжетами, по сути, не имеющими никакого отношения к Кузнецову, Огрызко пишет свою “биографию” поэта. Создаётся впечатление какого-то “конвоирования”, когда “ни шагу вправо, ни шагу влево”.

Почти 2 страницы посвящены Александру Коваленкову, который пересёкся с Кузнецовым лишь один раз, написав отзыв на его стихи в Литературном институте. Логика автора при этом хромает на обе ноги: “Сам Коваленков в своих стихах ориентировался в основном на Михаила Исаковского, Александра Твардовского и Александра Прокофьева. Даже Андрея Вознесенского он воспринимал уже как отщепенца. Неудивительно, что его стихи быстро забылись”. Забылись потому, выходит, что не воспринимал Вознесенского?

Повествование об Александре Михайлове чередуется достаточно хамскими репликами: “Михайлов действовал, как трус, и, в первую очередь, беспокоился только о своей карьере... Михайлов панически боялся, когда его студенты отходили от принятых канонов”... “Опытный интриган...” Мне довелось довольно близко общаться с Александром Алексеевичем Михайловым, когда он был главным редактором “Литературной учёбы”. Свидетельствую: он был человеком осмотрительным и осторожным, но его никак невозможно было назвать “трусом”. Не говоря уже о том, что именно Михайлов одним из первых высоко оценил Кузнецова, о чём далее пишет сам же Огрызко.

“Пережитая Смеляковым драма почему-то так и не выплеснулась в его стихи. Видимо, поэт продолжал чего-то бояться...” По сути, ради одной фразы и упоминается курсовая работа Кузнецова о Смелякове. Но это очевидная ложь. Огрызко не мог не читать смеляковские стихи “Вспоминая...” “В детские годы, в преддверии грозной судьбы...”, “Письмо домой”, “Шинель”, “Послание Павловскому”, посвящённые тюремно-лагерной “эпопее” поэта.

“Против талант, Наровчатов не пропил совесть”... Интересно, на каком приборе Огрызко отметил “пропитие таланта” у Наровчатова?.. И подобными фразочками, произнесёнными как бы “в пробор”, избилуют все его послесловия.

Логика, логика... С ней у Огрызко очень большие проблемы. Две фразы, не имеющие ничего общего друг с другом по смыслу, намертво вжуются в один узел. “Кузнецов в какой-то момент предпочёл оттолкнуться от традиций Тютчева. Он не захотел остаться в тесных рамках “детей околицы”...” Хочется спросить — “дитём” какой “околицы” был Тютчев? Пожалуй, это известно лишь одному Огрызко.

Читать окололитературные сплетни об издательстве “Современник” (а им Огрызко посвятил, по сути, целое послесловие к 3-му тому собрания под названием “Банка с пауками”) попросту противно. И не от “жутких фактов” (сплошь и рядом притянутых за уши), о которых сообщает “биограф”, а под впечатлением собственно их изложения. Так и видишь “человека непонятных кровей” из стихотворения Кузнецова “Воспоминание о Большой Серпуховке”, который прикладывает ухо к чужой двери. Я никогда не был поклонником есениноведческих трудов Юрия Прокушева и, тем более, его “приятелем” (“Позже приятели Прокушева утверждали, будто их компаньон первым в научном мире реабилитировал Есенина. Но всё это враньё”, — пишет Огрызко),

но факт остаётся фактом: Прокушев сделал очень много для публикации и введения в научный оборот множества есенинских текстов и фактов есенинской биографии на протяжении 1960-х годов. Другое дело – идеологическая составляющая его сочинений. Но не о ней ведь речь. А о том, что якобы Прокушев, по мнению биографа, не имел отношения к “реабилитации” Есенина.

И так почти на каждой странице. Оказывается, Юрия Панкратова “вместо Окуджавы взяли на поэзию в “Литгазету” за то, что он “слыл бунтарём”... Потом на месте этого бунтаря появился Сергей Орлов”: “два стихотворца что-то не поделили...” Сотрудник издательства “Современник” Блинов “приобрёл у сестры бывшего председателя советского правительства Молотова шикарную дачу в Абрамцево”, а “Дроздов при поддержке Панкратова... сумел поставить Дробышева, пусть и временно, вместо Вячеслава Горбачёва на редакцию критики...” При чём тут Кузнецов? Не спрашивайте: “всеслышащее ухо” знает, что подслушивает и что творит потом. Любая сплетня, любой пересказ чего-либо, пусть даже предельно искажающий реальность – в строку.

Огрызко решил, что знает Кузнецова лучше самого Кузнецова. “Если с кем в конце 60-х – начале 70-х годов Кузнецов в поэзии из современников и перекинулся, то скорее с Иосифом Бродским, хотя поэт это никогда не признавал”... Он не признавал, а я признаю! И сообщу об этом без всяких доказательств, без сопоставлений, без цитат. Верьте на слово!

“Мне кажется, к Мартынову он отнёсся несправедливо”. Надо же хоть немного представлять себе Леонида Мартынова 60–70-х годов! Он уже почти ничем не напоминал Мартынова 1930-х. Его рациональная, сухая, декларативная манера не могла не вызвать у Кузнецова острой реакции, если ещё учесть, что Мартынов был уже, что называется, “неприкасаем” для критики.

Но окончательно разошёлся Огрызко в послесловии к 4-му тому – “Нас, может, двое”. Здесь он попытался вылить как можно больше грязи на самого большого друга, соратника и собеседника Кузнецова – Вадима Кожинова.

В ход пошло всё. Старые сплетни “биограф” опрыскал живой водой и начал излагать перед глазами ошарашенного читателя конспирологический детектив. Оказывается, “Кожинов уже давно пытался сформировать свою литературно-политическую школу”. Но, как выясняется, не сам. “В начале хрущёвского правления (как раз в те годы, когда Кожинов учился в аспирантуре) дело дяди (чекиста С. В. Пузицкого. – С. К.) пересмотрели, его реабилитировали, и похоже, что оставшиеся в живых соратники и ученики пленителя Савинкова и Кутепова были не прочь привлечь племянника Пузицкого к работе в том или ином качестве на спецслужбе. Возможно, уже тогда Кожинову предложили роль консультанта или эксперта...”

Очаровательны сами по себе эти “возможно” и “похоже”... Подобные утверждения нуждаются в прямых доказательствах, которых у Огрызко нет и не может быть. Но образ Кожинова, как “серого кардинала”, “теневого генерала” давно сложился на страницах “Литературной России”, в частности, в публикациях большого фантазёра Александра Байгушева, утверждавшего, что, оказывается, “Кожинов придумал разыграть войну между “Новым миром” и “Молодой гвардией”...” (В “Молодой гвардии” во время той “войны” Кожинов опубликовался лишь дважды – напечатал статьи о поэзии Николая Тряпкина и о романе Льва Толстого “Война и мир”). “Потом не забывайте, где Кожинов работал – в отделе теории Института мировой литературы. Но мы-то знали, что тогда представлял этот отдел, – выносной филиал КГБ, где разрабатывались многие акции по работе с нашей и западной интеллигенцией. По моим сведениям, Кожинов был тесно связан с Филиппом Бобковым...” Эти байгушевские домыслы цитирует Огрызко, не задаваясь вопросом: откуда сведения и какова их природа? И с кем же, в таком случае, были “связаны” другие сотрудники этого отдела – Пётр Палиевский, Сергей Бочаров, Виталий Сквозников, Сергей Небольсин?

Там же, в “Литературной России”, печатал свои воспоминания о Кузнецове стихотворец Юрий Могутин, заявлявший, что Вадим Кожинов был “допущен ЦК пророчествовать и выстраивать нас по ранжиру”... И вот такими источниками пользуется Огрызко, сдабривая прежние рассказы своей буйной фантазией.

Ведёт он себя, правда, немножко поаккуратнее своих предшественников: “Возможно...”, “Наверное...”, “Похоже...” Но фантазия при этом не унимается.

“Почти все квартирные выставки и домашние литературные вечера с участием большого количества зрителей и слушателей, как правило, находились под бдительным контролем спецслужб, о чём Кожин, естественно, прекрасно знал. Осталось только выяснить, с какой целью критик, тем не менее, очень долго <i>упорно устраивал у себя все эти многочисленные и шумные посиделки... Ему хотелось формировать новые направления в литературе и всё держать под контролем...”

Что ж, сударь, выясняйте. Аось, жизни вашей ещё хватит на эти выяснения. Только не забудьте добавить к вашим умозаключениям свидетельства людей, которые вспоминают об удивительной, влекущей свободе, вольности общения в кожиновском кругу, которой в помине не было в тех “салонах”, которые находились под тайным или полувывным “колпаком”. Александр Васин в своё время совершенно точно ответил вдохновителю Огрызко — Байгушеву: “И уже забыли, что практически все наспех цепляемые Байгушевым поэты шли сначала за помощью к Б. Слуцкому, А. Межирову и получали её... А потом сами искали Вадима Кожина. И далеко не все, кто искал и нашёл его, смогли войти в их стихийное содружество, которое Кожин опекал, которым в определённой степени и руководил... и которое предъявляло к участникам своим требования не “тихой лирики, а первородности дарования...”

“Но Кожин когда-либо учитывал иное мнение?” — вопрошает Огрызко. Отвечаю: всегда. Всегда внимательнейшим образом прислушивался к чужому мнению, ибо для него определяющим в любом общении (как и в его письме) был насыщенный смысловой диалог. Подобные вопросы могут свидетельствовать лишь об одном: автор не имеет ни малейшего представления о том, о чём пишет.

Но он не унимается, распоясываясь всё пуще и пуще. Передреев “сознательно уходил от будущего. В итоге поэт не то чтобы так и не шагнул вперёд, он даже не дотянулся до уровня Рубцова...” “Дотянулся” или “не дотянулся” — пусть выясняют те, кому это интересно. А насчёт будущего... Может, нашему “биографу” стоит перечитать такие стихи Передреева, как “Беспощадна суть познанья...”, “Дни Пушкина”, “К истории войн”, “К Отчизне”... Может, что и поймёт? Едва ли.

Он слышком уверен в себе. Беспардонен и безапелляционен. “Ермилова знала и понимала русскую поэзию лучше своего мужа (В. Кожина. — С. К.)”. “Игорь Фёдоров вполне мог бы... обогнать Кожина именно как критика”... “Кожин при желании мог... найти приемлемую для него площадку и лично развенчать любого поэта. Но сам он светиться почему-то (опять! — С. К.) упорно не хотел. Ему крайне важно было, чтобы эту миссию выполнил кто-то другой... А может, он просто таким примитивным образом планировал повязать талантливых людей, что называется, кровью?..” Это о выступлении Кузнецова на IV съезде писателей России, на которое его якобы “спровоцировал Кожин”. Это якобы “выяснилось”. Где, когда, каким образом? Неважно. Слушайте и внимайте!

Итак, Кожин — “провокатор” и “подставляла”, “ломающий о колено”. Это основная мысль Огрызко. Он якобы провоцировал и Палиевского, и Кузнецова, и Селезнёва... Незадетых и живых кругом не осталось. Один “кровавый Валерианч” невредим!

Финал этого детектива запоминающийся: “...Кожин догадывался, что Кузнецов к последним его историческим вещам относился, мягко говоря, скептически. Так же, как и Кожин не во всём принимал трактовки Кузнецова о Спасителе”.

Не было у Кузнецова никаких “трактовок”. Была поэма “Путь Христа”, которую Кожин пронизательно и умно защитил от критики со стороны как некоторых священников, так и иных православных неопитов. А что касается отношения Юрия Кузнецова к книге Кожина “Россия. Век XX”... Откуда “биограф” знает о “скептическом” отношении к ней Кузнецова? От самого поэта? Уж не преминул бы сослаться.

Но вот повествование о Кожине подошло к концу. Осталось рассказать о последних годах жизни самого Кузнецова. И Огрызко не удержался. Теперь объектом его воспалённой “критики” стал сам Кузнецов.

“Лично меня несколько не поразили ни “Сталинградская хроника”, ни “Стихи о Генеральном штабе”... “Почерк Кузнецова после восьмидесяти пятого года начал резко меняться. Почти исчезла сказочность, улетучились

многие мифы... Пошла голая политика". "Мне всегда казалось, что ссылки на сатану — это от бессилия". Книгу "Душа верна неведомым пределам" "при всём желании ну, никак нельзя назвать событием в русской поэзии". "Поэту вкус и понимание ситуации явно изменили..." "Злость — не самый лучший советчик. Она добавила стихам Кузнецова социальности, гражданского пафоса, но лишила их какой-то тайны, а главное — надежды..." Такие мелкие укусы, свидетельствующие лишь о полном непонимании "биографом" поздней поэзии Кузнецова, рассыпаны на протяжении всего послесловия к очередному тому.

Особенно обращает на себя внимание следующее утверждение Огрызко, имеющее отношение к работе Кузнецова в "Нашем современнике" заводделом поэзии: "Ему нравилось поощрять авторов, которые писали под него и не имели собственного стиля". Большой лжи по адресу поэта трудно себе представить. Я хорошо помню, как Кузнецов буквально выгонял из своего кабинета стихотворцев, приносящих ему стихи, написанные "под него". Он безжалостно правил поэтов, чьи стихи предназначались для публикации, правил не "под себя", а вытаскивал из них то, что они сами не могли "дотянуть" или "доставить до ума", извлекая заложённые, но не прояснённые смыслы. Эпигонов, подражателей, чьих бы то ни было, он на дух не переносил.

Следующее послесловие почти целиком посвящено "зависти Кузнецова". "Кузнецов этого успеха Примерова спокойно пережить не мог. Он, судя по всему (! — С. К.), вскоре взревновал его..." "Мне кажется (! — С. К.), что Кузнецов всегда очень ревностно относился к чужим успехам..." "Кузнецова злил сильный успех и бешеная популярность Жданова и Ерёмко. Кузнецов надеялся, что в середине 80-х годов его слава пошла на спад. Но ему с этим смириться было очень трудно..." "Он ведь и Есенина за его страшную популярность у народа не всегда терпел..." Кузнецов, завидующий кому бы то ни было, — хоть Есенину, хоть Примерову, не говоря уже о Жданове с Ерёмко, — это из области скверного анекдота. Нужно совершенно не знать поэта, чтобы утверждать подобное. Но Огрызко на полном серьёзе считает, что он в своём праве.

А ведь до анекдота поистине и дошло. "Сколько раз Кузнецов намеренно снижал планку! Он мог незаслуженно привечать ну, очень посредственных стихотворцев. Примеры тому хотя бы Олег Кочетков и Игорь Тюленев... Тюленев не устал петь Кузнецову дифирамбы. И поэт растаял, не мог устоять перед лестью".

Я не собираюсь размышлять здесь в споре с Огрызко о большей или меньшей значимости стихов Кочеткова и Тюленева. Но не могу не вспомнить: в "Литературной России" от 26 мая 1995 года была опубликована подборка стихов Игоря Тюленева с восторженнейшим предисловием ("Искал свою тропу")... заместителя главного редактора газеты Вячеслава Огрызко. Может, "биограф" вспомнит сам, какой "лестью" его "купил" тогда Тюленев?

Впрочем, хватит. В заключение отмечу лишь одно: благожелательная цитата Огрызко из Петра Чусовитина: "Кузнецова хоронили, как эмигранта в чужой стране. Да он и был внутренним эмигрантом, чужим среди своих". Кузнецова хоронили, как великого русского поэта в русской земле, как родного каждому, кто проводил его в последний путь. И даже многие враги после его кончины воздали ему должное.

* * *

Как же хотелось искренне порадоваться кузнецовскому собранию сочинений в целом и воздать должное его составителям и тем, кто сумел издать это собрание в наше тяжкое для поэзии время! Но из песни слова не выкинешь. Великие стихи, увы, принципиально неряшливо выпущенные, идут в сопровождении довольно грязного сочинения, которое многие читатели, уже не знающие или не помнящие того времени и его героев, могут принять за чистую монету.

Не хотелось совершенно переходить на личности, но — "да воздастся каждому по вере его". Об отношении к Кузнецову в той же "Литературной России" говорит следующий многозначительный факт. В 2013 году этой газетой были изданы воспоминания о Кузнецове, статьи о нём и оценки современников под

названием “Звать меня Кузнецов. Я один”*. Из всех собственно мемуарных сочинений о поэте самые значительные и содержательные на сегодняшний день – воспоминания Евгения Чеканова, о. Владимира Нежданова и Олега Игнатьева. Ни Чеканова, ни Игнатьева в этом томе нет, зато есть мемуары бывшего главного редактора “Литературной России” Владимира Ерёмченко, в основном посвящённые тому, с кем, где и когда Кузнецов... пил во время совместных поездок. Похоже, именно это стало главным в образе поэта в глазах его “радетелей” из газеты, давным-давно утратившей всякую связь с той, что некогда возглавлял замечательный человек Эрнст Сафонов.

Ещё раз: доброе начинание, хорошее дело, правда, не без крупных недостатков. Но лучше бы к Кузнецову и после его смерти не примазывались разнообразные “крысы бытия”, в частности “биографы”, готовые сладострастно облить грязью друзей поэта, да так, чтобы и на его образ упали соответствующие капли.

* В этой книге моя статья о поэме “Путь Христа (“Путь ко Христу!”) почему-то написана Станиславу Куняеву, видимо, ради одной фразы в “биографической сопроводилке”: “Окунувшись в журнальные дела, поэт сильно разочаровался в Куняеве и как в редакторе”. Замечательно это “и”! В целом, что ли, разочаровался? И откуда это известно? Нет ответа. Никакого свидетельства о том самого Кузнецова. Внимайте вездесущему Огрызко!